



Н.С. ЛЕСКОВ



Николай Семёнович Лесков

Бесстыдник
(Рассказы)

Николай Лесков

Бесстыдник

Мы выдержали в море шторм на самом утлом суденышке, недостатков которого я, впрочем, не понимал. Став на якорь, в какие-нибудь полчаса матросы всё привели в порядок, и мы тоже все сами себя упорядочили, пообедали чем бог послал и находились в несколько праздничном настроении.

Нас было немного: командир судна, два флотских офицера, штурман, да я и старый моряк Порфирий Никитич, с которым мы были взяты на это судно просто ради компании, «по знакомству» – проветриться.

На радостях, что беда сошла с рук, все мы были словоохотливы и разболтались, а темой для разговора служила, конечно, только что прошедшая непогода. По поводу ее припомнили разные более серьезные случаи из морской жизни и незаметно заговорили о том, какое значение имеет море на образование характера человека, вращающегося в его стихии. Разумеется, среди моряков море нашло себе довольно горячих апологетов, выходило, что будто море едва ли не панацея от всех зол, современного обмеления чувств, мысли и характера.

– Гм! – заметил старик Порфирий Никитич, – что же? – это хорошо; значит, все очень легко поправить: стоит только всех, кто на земле очень обмелел духом, посадить на корабли да вывезть на море.

– Ну, вот какой вы сделали вывод!

– А что же такое?

– Да мы так не говорили: здесь шла речь о том, что море воспитывает постоянным обращением в морской жизни, а не то что взял человека, всунул его в морской мундир, так он сейчас и переменится. Разумеется, это, что вы выдумали, – невозможно.

– Позвольте, позвольте, – перебил Порфирий Никитич, – во-первых, это совсем не я выдумал, а это сказал один исторический мудрец.

– Ну, к черту этих классиков!

– Во-первых, мой исторический мудрец был вовсе не классический, а русский и состоял на государственной службе по провиантской части; а во-вторых, все то, что им было на этот счет сказано, в свое время было публично признано за достоверную и несомненную истину в очень большой и почтенной

компании. И я, как добрый патриот, хочу за это стоять, потому что все это относится к многосторонности и талантливости русского человека.

– Нельзя ли рассказать, что это за историческое свидетельство?

– Извольте.

Прибыв вскоре после Крымской войны в Петербург, я раз очутился у Степана Александровича Хрулева, где встретил очень большое и пестрое собрание: были военные разного оружия, и между ними несколько наших черноморцев, которые познакомились со Степаном Александровичем в севастопольских траншеях. Встреча с товарищами была для меня, разумеется, очень приятна, и мы, моряки, засели за особый столик: беседуем себе и мочим губы в хересе. А занятия на хрулевских вечерах были такие, что там все по преимуществу в карты играли, и притом «по здоровой», «и приписывали и отписывали они мелом и так занимались делом». Храбрый покойничек, не тем он будь помянут, любил сильные ощущения, да это ему о ту пору было

к необходимо. Ну, а мы, моряки, без карт обходились, а завели дискурс и, как сейчас помню, о чем у нас была речь: о книге, которая тогда вышла, под заглавием «Изнанка Крымской войны». Она в свое время большого шума наделала, и все мы ее тогда только что поначитались и были ею сильно взволнованы. Оно и понятно: книга трактовала о злоупотреблениях, бывших причиной большинства наших недавних страданий, которые у всех участвовавших в севастопольской обороне тогда были в самой свежей памяти: все шевелило самые живые раны. Главным образом книга обличала воровство и казнокрадство тех комиссариатщиков и провиантщиков, благодаря которым нам не раз доводилось и голодать, и холодать, и сохнуть, и мокнуть.

Естественное дело, что печатное обличение этих гадостей у каждого из нас возбудило свои собственные воспоминания и подняло давно накипевшую желчь: ну, мы, разумеется, и пошли ругаться. Занятие самое компанское: сидим себе да оных своих благодетелей из подлеца в подлеца переваливаем. А тут мой сосед, тоже наш черноморский, капитан

Евграф Иванович (необыкновенно этакий деликатный был человек, самого еще доброго морского закала), львенок нахимовский, а доброты преестественной и немножко заика, ловит меня под столом рукою за колено и весь ежится...

«Что такое, – думаю, – чего ему хочется?»

– Извините, – говорю, – мой добрейший. Если вам что-нибудь нужно по секрету – кликните слугу: я здесь тоже гость и всех выходов не знаю.

А он заикнулся и опять за свое. А я ведь по глупости своей пылок, где не надо, да и разгорячен был всеми этими воспоминаниями-то, и притом же я еще чертовски щекотлив, а Евграф Иванович меня этак как-то несмело, щекотно, пальцами за колено забирает, совершенно будто теленок мягкими губами жеваться хочет.

– Да перестаньте же, – говорю, – Евграф Иванович, что вы это еще выдумали? Я ведь не дама, чтобы меня под столом за колено хватать, – можете мне ваши чувства при всех открыть.

А Евграф Иванович – милота бесценная –

еще больше сконфузился и шепчет:

– Бе-е-е-сстыд-д-ник, – говорит, – вы, Порфирий Никитич.

– Не знаю, – говорю, – мне кажется, что вы больше бесстыдник. С вами того и гляди попадешь еще в подозрение в принадлежности к какой-нибудь вредной секте.

– Ка-а-а-к вам... ра-а-зве можно, можно та-а-к про интендантов с комиссионерами гово-орить?

– А вам, – спрашиваю, – что за дело за них заступаться?

– Я-а-а за них не за-а-а-ступа-а-юсь, – еще тише шепчет Евграф Иванович, – а разве вы не видите, кто тут за два шага за вашей спиной сидит?

– Кто там такой у меня за спиной сидит? – я не виноват: у меня за спиной глаз нет.

А сам за этим оборачиваюсь и вижу: сзади меня за столиком сидит в провиантском мундире такая огромная туша – совершенно, как Гоголь сказал, – свинья в ермолке. Сидит и режет, подлец, по огромному кушу, и с самым таким возмутительным для нашего брата-голяка спокойствием: «дескать, нам что проиг-

рать, что выиграть – все равно: мы ведь это только для своего удовольствия, потому у нас житница уготована: пей, ешь и веселись!»! Ну, словом сказать, все нутро в бедном человеке поднимает!

– Ишь ты, – говорю, – птица какая! Как же это я раньше его не заметил! – И, знаете, завидев врага воочию-то, черт знает каким духом занялся и, вместо того чтобы замолчать, еще громче заговорил в прежнем же роде, да начал нарочно, как умел, посолонее пересаливать.

– Разбойники, – говорю, – кровопийцы эти ненасытные, интендантские утробы! В то самое время, как мы, бедные офицеры и солдаты, кровь свою, можно сказать, как бурачный квас из втулки в крымскую грязь цедили, – а они нас же обкрадывали, свои плутовские карманы набивали, дома себе строили да именья покупали!

Евграф Иванович так и захлебывается шепотом:

– Пе-е-рестаньте!

А я говорю:

– Чего перестать? Разве это неправда, что

мы с голоду мерли; тухлую солонину да капусту по их милости жрали; да соломой вместо корпии раны перевязывали, а они херес да дрей-мадеры распивали?

И всё, знаете, в этом роде на их счет разъезжаю. Собеседники мои, видя, что я в таком азарте, уже меня не трогают, а только, кои повеселее, посмеиваются да ноготками об рюмки с хересом пощелкивают, а милота моя, застенчивый человек Евграф Иванович, весь стыдом за меня проникся – набрал со стола полную горсть карточных двоек, растопырил их в обеих руках веером, весь ими закрылся и шепчет:

– Ах, Порфирий Никитич, ах, бес-с-стыд-д-дник какой, что-о-о он рассказывает! В ва-с со-о-страдания нет...

Меня эта краснодевственность его еще больше взорвала.

«Вот так, – думаю, – у нас всегда, у русских: правый, с чистой совестью, сидит да краснеет, а нахал прожженный, как вороватый кухонный кот-васька, знай уписывает, что стянул, и ухом не ведет.»

И с этим оглянулся назад, где за столом си-

дел раздражавший меня провиантщик, и вижу, что он и точно ухом не ведет. Чтобы он не слышал этого моего широковещания насчет всей его почтенной корпорации, – этого и быть не могло; но сидит себе, как сидел, курит большую благовонную регалию да козыряет. И как все у человека очень много зависит от настроения, то уж мне кажется, что и козыряет-то, или, просто сказать, картами ходит он как-то особенно противно: так это, знаете, как-то их словно от себя и пальцем не шевеля пошвыривает: «дескать, на вам, сволочи, – мне все это наплевать». Еще он мне этим стал отвратительнее через то, что как будто он же надо мною своим спокойствием некоторого верха брал: я надрываюсь, задираю, гавкаю на него, как шавка на слона, а он и ухом не хлопнет. Я и полез еще далее.

«Ну так врешь же, – думаю, – волк тебя ешь! Ты у меня повернешься; я, брат, человек русский и церемониться не стану; приятен или неприятен буду хозяину, а уж я тебя жигану». И жиганул: все, что знал о нем лично, все в нехитром иносказании и пустил.

– Мы, – говорю, – честные русские люди,

которых никто не смеет воровством укорить, мы, израненные, искалеченные после войны, еще и места себе нигде добиться не можем, нам и жен прокормить не на что, а этим протоканальям, как они по части хаптус гевезен отличатся, все так и садит: и в мирное время им есть место на службе и даже есть место в обществе, и жены у них в шелку да в бархате, а фаворитки еще того авантажнее...

Шумел я, шумел, болтал, болтал и умурился... Уже у меня и слов и голосу стало не доставать, а он все-таки ничего. Просто весь преферанс на его стороне: даже Евграф Иванович это заметил и начинает надо мной подтрунивать:

– А что-о-о? – шепчет, – что-о-о вы, ба-ба-ба-тенька, своим бесстыдством взяли?

– Что, – отвечаю, – вы еще тут со своим «ба-ба-батенька», – уже сидите лучше смирно.

А сам, знаете, откровенно сказать, действительно чувствую себя сконфуженным. Но все это были-с еще цветочки, а ягодки ждали меня впереди.

Игра перед ужином кончилась, и за столом

стали рассчитывать; провиантщик был в огромнейшем выигрыше и вытащил из кармана пристрашенный толстый бумажник, полнешенек сотенными, и еще к ним приложил десятка два выигрышных, и все это опять с тем же невозмутимым, но возмутительным спокойствием в карман спрятал.

Ну тут и все встали и начали похаживать. В это время подходит к нашему столу хозяин и говорит:

– А вы что, господа, всё, кажется, бездельничали да злословили?

– А вам, – говорю, – разве слышно было?

– Ну еще бы, – говорит, – не слышно; ваша милость точно на корабле орали.

– Ну, вы, – прошу, – Степан Александрович, пожалуйста, меня простите.

– Что же вам прощать; бог вас простит.

– Не выдержал, – говорю, – не стерпел.

– Да ведь разве утерпишь?

– Увидал, – говорю, – все внутри и задвигалось, и хотя чувствовал, что против вас неловко поступаю...

– А против меня-то что же вы такое сделали?

– Да ведь он ваш гость...

– Ах, это-то... Ну, батюшка, что мне до этого: мало ли кто ко мне ходит: учрежден ковчег, и лезет всякой твари по паре, а нечистых пар и по семи. Да и притом этот Анемподист Петрович человек очень умный, он на такие пустяки не обидится.

– Не обидится? – спрашиваю с удивлением.

– Конечно, не обидится.

– Значит, он медный лоб?

– Ну, вот уж и медный лоб! Напротив, он человек довольно чувствительный; но умен и имеет очень широкий взгляд на вещи; а к тому же ему это небось ведь и не первоучина: он, может быть, и бит бывал; а что ругать, таких брата теперь везде ругают.

– А они всюду ходят?

– Да отчего же не ходить, если пускают, и еще зовут?

Меня зло взяло уже и на самого хозяина.

– Вот то-то у нас, – говорю, – ваше превосходительство, и худо, что у нас дрянных людей везде ругают и всюду принимают. Это еще Грибоедов заметил, да и до сих пор это все так продолжается.

– Да и вперед продолжаться будет, потому что иначе и не может быть.

– Полноте, – говорю я с неподдельной грустью, – отчего же это, например, в Англии... (которую все мы тогда бредили под влиянием катковского «Русского вестника»).

Но чуть я только упомянул об Англии, Степан Александрович окинул меня своим тяжелым взглядом и перебил:

– Что это вы катковского туману нам напустить хотите? Англия нам не пример.

– Отчего, разве там ангелы живут, а не люди?

– Люди-то тоже люди, да у них другие порядки.

– Я, – говорю, – политики не касаюсь.

– И я ее не касаюсь: мы ведь, слава богу, русские дворяне, а не аглицкие лорды, чтобы нам обременять свои благородные головы политикою? А что в Англии может быть честных или по крайней мере порядочных людей побольше, чем у нас, так это ваша правда. Тут и удивляться нечего. Там честным человеком быть выгодно, а подлецом невыгодно, – ну, вот они там при таких порядках и развелись.

Там ведь еще малое дитя воспитывают, говорят ему: «будь джентльмен», и толкуют ему, что это такое значит; а у нас твердят: «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Ну, дитя смышлено: оно и смекает, что ему делать. Вот оно так и идет. Надо все это представлять себе благоразумно, с точки зрения выгоды, а не по-вашему, как у вас там на море, – всё идеальничают. Зато вы никуда и не годны.

– Это, – говорю, – почему мы никуда не годны?

– Да так, не годны: не к масти, да и баста; поди-ка я сунься куда-нибудь, например, вас на службу теперь рекомендовать с такой речью, «что вот, мол, черноморский офицер и честнейший человек: ни сам не сворует, ни другому не даст своровать, а за правду шум и крик поднимет», – я и вас не определяю, да и себя скомпрометирую: меня за вас дураком назовут. Скажут: «хорош ваш молодец, да нам такого не надобе, нам похуже падобе», – и я за вас никуда просить и не пойду, а вот за него-то, за этого барина (хозяин кивнул на стоящего у закуски провиантщика), за него я куда

вам угодно полезу, потому что при наших порядках это люди ходкие и всякий за них может быть уверен в успехе.

– Что же, это разве, – говорю, – так и должно быть?

– А разумеется, так должно быть, потому что он человек очень ловкий и на все податливый, а это всякому интересно, и всякий смекает, на что он ему может пригодиться; а вы на что кому нужны? Вы с правдою-то с своею со всеми перессоритесь, а потому вашего брата только и остается, что с берега опять за хвост, да назад на корабль перекинуть, чтобы вы тут на суше не пылились.

– Заметьте это себе, господа, – подчеркнул Порфирий Никитич, – ведь это я вам не вру, не сочинение для забавы вашей сочиняю, а передаю вам слова человека исторического, которые непременно должны иметь свое историческое значение хотя если не в учебной истории, то по крайней мере в устных преданиях нашей морской семьи. Так, господа, смотрели тогда на нас, как на людей вокруг себя чистых и... этак, знаете, совершенно чистых... Ну, да все это в скобках; а я обраща-

юсь опять к своей истории на закуске у Хрулева.

– Так-то, благодетель мой, – похлопав меня по плечу, дружески заключил Степан Александрович, – век идеалов прошел. Нынче даже кто и совсем по-латыни не знает, и тот говорит *suum cuique*, [1] – поидемте-ка лучше закусывать, а то вот на этот счет Анемподист Петрович уж настоящая свинья: он, пожалуй, один всю семгу слопает, а семушка хорошая: я сам у Смурова на Морской с пробы взял. Кстати я вас с ним тут у закуски и познакомлю.

– С кем это?

– С Анемподистом Петровичем.

– Нет, покорно вас благодарю-с.

– Что же? Неужели не желаете?

– Отнюдь не желаю.

– Жаль: большого ума человек, почти, можно сказать, государственного, и в то же время, знаете, чисто русский человек: далеко вглубь видит и далеко пойдет.

– Ну, бог с ним.

– Да, разумеется, а только человек приятный и поучительный.

«Еще чего, – думаю, – в нем отыскал: даже и поучительности! Тьфу!»

Мы подошли к закусочному столу и вмешались в толпу, в которой ораторствовал учительный Анемподист Петрович. Он занимал центр. Я стал прислушиваться, что такое вешает этот «учитель».

Он, однако, сначала все говорил просто насчет семги; но действительно говорил очень основательно и с большим знанием предмета. Мне все это казалось свойством, которое каждому порядочному человеку может внушить омерзение.

Он и сосал, и чмокал, и языком по нёбу сластил, и губами причавкивал, и все это чтобы тоньше разведать и вернее оценить эту семгу. Смакует ее, а сам сквозь зубы, как гоголевский Петух, рассказывает:

– М... н... н... да... недурна... очень недурна, можно даже сказать, хороша...

Кто-то замечает:

– Даже очень хороша.

– М... н... да... пожалуй... м... н... ничего... мягкотела...

– Просто что твое масло.

– М... да... масляниста...

– Ишь вы как скупое хвалите-то, – замечает опять какой-то полковник со шрамом через весь лоб и переносье, – а нам после крымской гнили-то все хорошо кажется – там ведь ничего этого нельзя было достать.

– М... н... ну... отчего же... нет, мы и там м... н... тоже получали...

– Зато, я думаю, какую ценою!

– М... н... да, разумеется... обходилось... но вдовольном количестве... доставали для себя... Через Киев... от купца Покровского выписывали... хорошая была семга, так и называли «провиантская»... Светлейшему к столу... м... н... тоже он доставлял... Покровский... Только та, разумеется, была похуже, потому что ему эту цену не смели ставить, ну, а наши... ничего – платили.

Полковник со шрамом даже вздохнул.

– У вас денег много было, – говорит, – и вы не знали, куда их девать.

– Да, иные, точно, терялись от непривычки... м... н... один, я помню, у нас... мн... слышал про «штофные карманы» и велел портному, чтобы тот ему штофные карманы поста-

вил, и вышла глупость... портной ему из штофной материи и сделал... Очень смеялись.

– А это в чем же дело было?

– Чтобы объемом штоф вмещался... м... н... потому у нас... м... н... бумажники были... м... такие большие...

«Ах ты, – думаю, – рожа этакая богопротивная! И еще этак бессовестно обо всем рассказывает».

А он продолжает про какого-то ихнего же провиантщика или комиссарщика, который в эту ужасную пору, среди всеобщих страданий и военной нужды, еще хуже потерялся, – «вдруг, говорит, совсем со вкуса сбился, черт знает что лопать начал».

«Ах, – думаю, – отлично. Всем бы вам этак сбиться и „черт знает что лопать“, но это „черт знает что“ вышло совсем неожиданное».

– Всегда квас, – говорит, – любил и один квас и употреблял. Из последовательных людей был – семинарского воспитания... Его отец был протопоп и известный проповедник, и такой завет ему завещал, что если есть средства на вино, то пить пиво, есть на пиво –

пить квас, а есть на квас – пить воду. Он все и пил квас, и другого не хотел, но только во время военных действий стал шампанское в свой квас лить...

– Как же это?

– Так... м... н... Пополам тростил: полстакана квасу нальет и полстакана шампанского... вместе смешает и пьет.

– Экая свинья! – прошептал я, но так неосторожно, что Анемподист Петрович это услышал и, взглянув в мою сторону, отозвался:

– Да ничего себе, хамламе порядочный; но, однако, я вам должен сказать, что шампанское с квасом это совсем не так дурно, как вы думаете... У нас это, у провиантских, в военное время даже в моду... вошло... М... н... очень многие из наших даже до сих пор продолжают... привыкли... Иностранцы не могут... пробовали их для шутки поить, так они... того... выплевывали... не могут.

Я хоть не иностранец, но плюнул и хотел отойти, но в эту самую минуту Анемподист Петрович вдруг самым непосредственным об-

разом оборотился ко мне и говорит:

– А вот, извините меня, сделайте милость, я вам тоже, если позволите, хотел сделать маленькое возражение насчет русской природы.

Не знаю уж право с чего, но я, вместо того чтобы ему оторвать какую-нибудь грубость, ответил:

– Сделайте милость, скажите.

– Я, – говорит, – вкратце – всего только два слова скажу: вы о русских очень неправо и обидно судите.

Я так и подскочил на месте.

– Как! Я обидно сужу?

– Да. Я вот в карты играл, а урывками долго слушал, о чем вы изволили рассуждать с товарищами, и мне за всех своих соотечественников стало обидно. Поверьте, напрасно вы этак русских унижаете.

– Кто? Я, – говорю, – унижаю?

– А разумеется, унижаете: как же вы... я долго слушал изволите делить русских людей на две половины: одни будто всё честные люди и герои, а другие всё воры и мошенники.

– А-а... так вот что, – говорю, – вам обидно!

– Нет-с, мне за самого себя ровно ничего не

обидно, потому что у меня есть свое отцовское, дворянское наставление, чтобы ничего неприятного никогда на свой счет не принимать; а мне за других, за всех русских людей эта несправедливость обидна. Наши русские люди, мне кажется, все без *исключения* ко всяким добродетелям способны. вы изволите говорить, что когда вы, то есть вообще строевые воины, свою кровь в крымскую грязь проливали, так мы, провиантчики, в это время крали да грабили, – это справедливо.

– Да, – отвечаю с задором, – я утверждаю, что это справедливо; и теперь, когда вы об этом подлом квасе с шампанским рассказали, так я еще более убеждаюсь, как я прав был в том, что сказал.

– Ну, мы про квас с шампанским оставим – это дело вкуса, как кому нравится. Король Фридрих асафетиду в кушанье употреблял, но я в том еще большей подлости не вижу. А вот насчет вашего раздела наших русских людей на две такие несходности я не согласен. По-моему, знаете, так целую половину нации обижать не следует: все мы от одного ребра и одним миром мазаны.

– Ну, это, – говорю, – вы извините: мы хоть и все одним миром мазаны, да не все воры.

Он будто немножко не расслышал и переспрашивает:

– Что такое?

А я ему твердо в упор повторяю:

– Мы не воры.

– Я это знаю-с. Где же вам воровать? Вам и научиться красть-то до сих пор было невозможно. У вас еще покойный Лазарев честность завел, ну она покуда и держится; а что впереди – про то бог весть...

– Нет, это всегда так будет!

– Почему?

– Потому что у нас служат честные люди.

– Честные люди! Но я это и не оспариваю.

Очень честные, только нельзя же так утверждать, что будто одни ваши честны, а другие бесчестны. Пустяки! Я за них заступаюсь!.. Я за всех русских стою!.. Да-с! Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Пустяки-с! Несправедливо-с! Все люди русские и все на долю свою имеем от своей

богатой природы на всё сообразную способность. Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось – везде мордой в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать – так умирать, а красть – так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде – вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...

Так и выпалил!

Я было совсем приготовился ему отрезать:

«Какой вы скотина!»

Но все пришли в ужасный восторг от его откровенности и закричали:

– Bravo, bravo, Анемподист Петрович! Бесстыдно, но хорошо сказано, – и пошли веселым смехом заливаться, точно невесть какую радость он им на их счет открыл; даже Евграф

Иванович, и тот пустил:

– Пра-пра-пра-вда!

А тот, медный лоб, набил наново рот семгой, и еще начал мне читать нравоучение.

– Разумеется, – говорит, – если вы раньше все несообразности высказали только по своей неопытности, так бог вам это простит, но вперед этак с людьми своей нации не поступайте; зачем одних хвалить, а других порочить; мы положительно все на все способны, и, господь благословит, вы еще не умрете прежде, чем сами в этом убедитесь.

Так я же виноват и остался, и я же еще получил от этого практического мудреца внушение, да и при всеобщем со всех сторон одобрении. Ну, понятно, я после такого урока оселся со своей прытью и... откровенно вам скажу, нынче часто об этих бесстыжих речах вспоминаю и нахожу, что бесстыдник-то – чего доброго – пожалуй, был и прав.

Примечания

Каждому свое (*лат.*).

[^^^]